

Мы так разрозненны; мы жаждем нравственного убеждения, направления.

Ф.М. Достоевский

Быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастиях, не уныть и не пасть — вот в чем жизнь.

Ф.М. Достоевский

Раз, два, три...

Я знаю, мне нужно подняться вверх по лестнице на двадцать ступенек. Восемнадцатая громко скрипнет, потому что гвоздь, которым она была прибита к деревянному брусу, давно потерялся, и на его месте сейчас виднеется большое ржавое отверстие. Затем шесть шагов по пропахшему керосином, слежавшейся бумагой и прелым тряпьем коридору я подойду к деревянной двери, густо выкрашенной в темно-коричневую краску и с цифрой «8», неаккуратно выведенной чьей-то рукой белым мелом. Со временем след от мела почти стёрся, и лишь царапины на краске держали в себе желтоватые, забившиеся когда-то в них комочки. В коридоре, недалеко от двери, будет тускло гореть лампочка. Я без стука открою эту дверь, потому что знаю: она никогда не запирается. А впрочем, её могли и запереть, потому что человека, в котором постоянно нуждались другие, сейчас за этой дверью нет. Его вообще больше нет...

Четыре, пять, шесть...

Первый раз я поднимался по этой лестнице в доме барачного типа, который стоит на Стрелке у самой портовой стены, около года назад. На улице было холодно, шёл мокрый снег вперемешку с мелким осенним дождём, и налетающий порывами ветер с Волги задирает полы моего плаща, срывает с головы шляпу, которую, чтобы она не улетела, приходится придерживать рукой. Войдя в подъезд низенького двухэтажного дома, очень старого, я сразу почувствовал себя лучше. Здесь было темно и тоже холодно, но не было ветра. Он только бился за окном, которое было над дверью под самым потолком, и звякало озлобленно стёклами, неплотно вставленными в раму.

Пришёл я в тот дом тогда не случайно. Но лучше всё по порядку.

Осень. Я очень не люблю это время года, холодное и дождливое. И не просто не люблю, а трудно, с мучениями переношу физически. В теле постоянно ощущается разбитость, усталость. Но та осень была особенной. Почему? Может быть, потому, что в любой человеческой жизни наступает момент, когда нужно совершить свой первый значительный поступок. Видно, такая же пора пришла и ко мне. И поступок этот не виделся мне чем-то абстрактным, неясным. Нет. Мне нужно было решить раз и навсегда, чем я должен заниматься в жизни, чтобы оставить в ней свой след, память о себе. Зачем я живу, для чего хожу по земле, ем, пью? Почему совершаю те поступки, которые совершаю, а не другие? Выходит, я должен совершать именно эти поступки? Но тогда от кого это зависит? От меня или от какой-то иной силы, живущей не во мне, но влияющей на меня, заставляющей поступать так, а не иначе? И если это так, тогда где эта сила, как её понять?

Этот казавшийся неразрешимым вопрос непроходящей тяжестью давил на сознание, на душу. И тогда я подумал: а может, и нет его, этого ответа? Может быть, не дано людям узнать его. Не дано узнать того, для чего они живут и что обязаны совершить в жизни.

Я, хорошо помню, подумал об этом на переходе через дорогу. С другой стороны шоссе, напротив переходной дорожки, светофор зажгёт зелёный свет. Я стал переходить улицу. Чёрная «Волга», истерически визжа покрывками колёс о сырой асфальт, затормозила в полуметре от меня. Наверное, от испуга меня бросило в жар, но я почему-то не отскочил, а, наоборот, остановился как вкопанный перед машиной. Затем снова пошёл и вот тогда неожиданно подумал: а может быть, и нет этого ответа. И эта мысль, как проклятая, с того времени вертелась в моём сознании.

Я приехал на главную площадь города. По центральной улице дошёл до Дома офицеров и там свернул во двор, вошёл в скверик. Я любил этот небольшой двор и этот скверик. Они всегда успокаивающе действовали на меня. Но в этот раз не помогли и они.

Расшвыривая ногами мокрую отяжелевшую листву, я прошёл в дальний угол сквера, сел на лавочку, укутавшись в плащ.

Мне казалось, что так безысходно я ещё никогда себя не чувствовал.

У своего старшего товарища Евгения Ивановича я не был года два. Раньше часто заходил, особенно после армии, а в последнее время как-то позабыл его, заела текучка. То на работе план заваливали, то в институте сессия. Но тогда, в сквере, меня неодолимо потянуло увидеть именно этого человека. Я, конечно, был виноват перед ним за то, что долго не приходил, и он вправе был обидеться на меня. Но если Евгений Иванович, непризнанный философ и умница, не поможет, то кто тогда? Мне казалось, что только он сможет всё объяснить, как это делал раньше, ещё в институте, и потом, когда было трудно, когда что-то случалось, все, не я один, шли к нему.

Евгений Иванович встретил меня приветливо. Может, и был сначала обижен за долгое мое непоявление, но, видно, подсказало сердце старому педагогу: не ради праздных разговоров я вдруг приехал. Наверно, поэтому он улыбнулся и, как и раньше, предложил пройти.

Мы сидели в его рабочем кабинете, где царил полумрак, и только большой письменный стол был освещён стоявшей на нём старой, ещё довоенного образца (высокой, с плоским абажуром) лампой. Евгений Иванович долго, не перебивая, слушал меня. Когда же я замолчал, он отвернулся к стеллажам с книгами (он так всегда делал, когда что-нибудь обдумывал), а потом, опять повернувшись ко мне, сказал негромко, но как-то твёрдо, однозначно.

— Хочешь понять, чем должен заниматься в жизни? Хочешь найти своё дело? Знаешь что, одевайся и пойдём. Я тебя познакомлю с одним человеком. Это девочка... или нет, я тебе по дороге расскажу, а сейчас одевайся и пошли. Да, да, — продолжал он говорить уже в прихожей, — ты должен обо всём этом рассказать ей, она поможет, вот увидишь, — и немного выждав, — если только ты ещё не совсем обиделся на людей.

Когда мы подошли в тот первый раз к этому дому, Евгений Иванович вдруг остановился.

— Ты должен идти один. Поднимись на второй этаж, в квартиру «8». А мне нельзя там быть, незачем... Я свою жизнь уже прожил. А ты иди, ты должен идти, и если выдержишь, то узнаешь ответ на свой вопрос. Я желаю тебе выдержать.

Евгений Иванович говорил быстро, взволнованно, чуть заикаясь и местами не выговаривая букву «р». Он то и дело тёр рукой лоб, и я замечал, как мелко, словно от укулов, вздрагивают его пальцы.

Евгений Иванович хотел ещё что-то добавить (я это чувствовал по выражению его глаз), но так ничего больше не сказав, повернулся и быстро пошёл прочь.

Я был растерян и не знал, что делать. Всё, что случилось, для меня оказалось неожиданным, пугающим и, главное, — что я должен выдержать? Тогда мне казалось, что я стою на пороге неизвестного ещё никому мира и, чтобы совершить открытие, надо сделать только шаг, всего один шаг.

— Ну, смелее же, — шёпотом уговаривал я сам себя, — смелее.

Я вошёл в подъезд...

Так я познакомился с Ольгой, девушкой, которая не могла ходить — у неё отнялись ноги, которой трудно шевелиться — у неё парализована правая часть тела, но у которой ясный и добрый ум.

«Я люблю людей, потому что, если бы не было их, я была бы совсем одна. Нет, меня бы вообще не было! А ещё за то, что я их помню. Это так здорово, когда кого-то помнишь!» Это она мне скажет потом, во время одного из наших разговоров. А тогда, год назад, я шёл к ещё не знакомому мне человеку, сильно волновался и от неожиданности вздрогнул, когда восемнадцатая ступенька деревянной и крутой лестницы громко скрипнула, словно простонала, у меня под ногами.

Я знал, что дверь в этой квартире никогда не запирается, и всё-таки постучал. Мне не ответили. Тогда, взявшись за ручку, я сам открыл её.

Маленькая квадратная комната. Прямо напротив двери — тоже маленькое и тоже квадратное окно. У окна кровать. К её железной решётке прислонена подушка, оперевшись на которую спиной сидит девочка. У неё над головой и в углу на полочках стоит много икон. Девочка молча и удивлённо разглядывает меня, я — её. Большие тёмные глаза широко раскрыты, брови тонкие, будто по моде выщипаны, нос с чуть заметной горбинкой, подбородок острый, не раздвоенный, длинные волосы распущены и, закрывая половину лица, спускаются на одеяло. Поверх одеяла лежат и её руки. Левая держит раскрытую книгу.

Потом она мне скажет: «Книги, это тоже люди. Я читаю и вижу человека, какой он, добрый или не очень, сильный или слабый. Иногда посмотрю на фотографию писателя, старенький он на ней, а я всё равно знаю, значит, в молодости сильным был... Слабый никогда о сильном не напишет, ведь он не знает, как им быть. Да и старость — это не всегда слабость».

Она первая спросила, как меня зовут. Я ответил и рассказал, откуда узнал про неё.

— А-а-а, Евгений Иванович, он приходил со мной заниматься, — и улыбнувшись, — это мой учитель. — Помолчав, она несмело попросила: — Расскажи мне о школе.

— Ты никогда не была в ней?

Она отрицательно покачала головой.

Я стал рассказывать, но у меня как-то не получалось. Я вспоминал то четвёртый класс, потом сбивался, путался, начинал рассказывать про девятый.

В этот первый раз мы говорили с ней очень недолго, и я бы наверняка никогда больше не вернулся в эту комнату, если бы не её последние слова.

— Уходишь... Я знаю, ты больше не придёшь...

Нет, она не заплакала, но в глазах такая печаль и уверенность, что к ней приходят только один раз. Возвращается лишь добрая, но любящая поворчать соседка тётя Маша, про которую мне тоже рассказал мой знакомый.

Я долго сидел молча, не решаясь встать со стула, который нетвёрдо подо мной покачивался.

— Я приду, обязательно. Вот в конце недели освобожусь и тогда приду.

Она утвердительно кивала головой в благодарность, улыбалась, но глаза мне не верили. Она благодарила за обещание. Другие, видно, не делали и этого. Да и много ли их было, других? Тогда я ещё не знал.

— Ты не веришь мне?

Она, не отвечая, продолжала улыбаться, а пальцы беспокойно тербли ли потрёпанный угол книжной страницы.

— Что ты хочешь почитать, какую книгу тебе принести?

Она опять не ответила, продолжая всё также улыбаться, только в глазах неверие заменил укор: «Не оправдывайся, я всё понимаю, не нужно только лгать».

Так и не услышав от неё ответа, я встал, подошёл к двери.

— До свидания.

Она сказала это отрывисто, проглотив окончание, будто задохнувшись.

Я вышел, тихо прикрыв за собой дверь, и, лишь подойдя к лестнице, вспомнил, что не попрощался. Но ведь, если честно, я действительно больше не собирался возвращаться сюда.

Семь, восемь, девять...

Когда я сильно волнуюсь, то всегда что-нибудь считаю про себя: машины, прохожих, шаги...

Я пришёл к Ольге во второй раз примерно через неделю. Зачем? На это трудно ответить сразу. Нет, я не хотел уверовать в милосердие, не хотел убедить сам себя, что способен на него. Меня влекло к этой девушке что-то другое, ещё до конца неосознанное. А может, тому действительно был виной её взгляд, которым она смотрела на меня, когда я уходил?

Моему приходу Ольга искренне обрадовалась, и в начавшемся между нами разговоре я понял, что она всё-таки верила в то, что я приду ещё. Это было неожиданным для меня и приятным. Всегда приятно, когда тебя ждут, когда чувствуешь, что ты кому-то нужен.

Я протянул Ольге холодный от того, что нёс его по улице и не завёрнутым в бумагу, том избранных повестей знаменитого тогда писателя. Она взяла книгу, понюхала её, смешно зарывшись острым носиком в глянцево-белые страницы, и, хихикнув, сказала:

— Как пахнет! Когда тётя Маша приносит зимой с улицы бельё, оно тоже морозом пахнет и болгарскими яблоками.

— Почему именно болгарскими? — спросил я, удивившись.

Ольга медленно закрыла книгу, отвернувшись от меня, посмотрела в окно.

— Два года назад, на Новый год, мама приносила мне болгарские яблоки. Они были большие, красные, ещё в стружке и сладко пахли холодом.

Мы надолго замолчали. Ольга продолжала смотреть в окно, за которым было видно только занесённую снегом крышу большого сарая да одну его стену, сколоченную из досок, почерневших от времени. Потом она снова начала листать книгу. Я смотрел на её руку, которая перелистывала страницы, на тоненькие, беленькие, чуть подрагивающие пальцы с коротко остриженными ногтями и почему-то думал о её матери. Я знал историю этой женщины (опять же благодаря Евгению Ивановичу), которая прожила нелёгкую жизнь. Ольга у неё единственная дочь, но родилась калекой. Муж (да и был ли он им?) бросил её сразу после родов. Мать и до этого пила немало, а тут... Вот и сейчас Ольга не видела её (как сама мне сказала) уже больше недели и неизвестно, что бы ещё было с девочкой, если бы не добрая тётя Маша и все остальные соседи. Нет, Ольга не плакала, не жаловалась, когда за домашними хлопотами о ней забывали (а было и такое) и вспоминали лишь к вечеру. Она считала, что люди ей дают ровно столько, уделяют ровно такую долю внимания, какую она сама заслужила.

Я первым тогда нарушил молчание, спросив у Ольги, читала ли она произведения этого писателя?

— Нет, пока ещё ничего в руки не попадало. Мне ведь тётя Маша книги носит. Она из-за меня и в библиотеку записалась.

В этот раз мы говорили с Ольгой о литературе. Прочитать она успела, до удивления, много. Но главное было всё-таки не в этом. Мы уже привыкли, что когда говорят о привязанности к литературе покалеченного жизнью человека или человека, появившегося на свет с большим физическим недугом, то перечень этой литературы сугубо выражен в героике сюжета. Герои книг преодолевают физические и духовные слабости, которые могут сломать человеческую личность. Но заговорив с Ольгой о литературе (и мне это сначала показалось странным), я вдруг открыл для

себя другим, обеспокоенного не своей судьбой и личностью, но судьбой и сохранением целостности личности всего человечества. Или нет, это не точно. Она искала единую нравственную ценность в человеке и твёрдо верила, что такая есть. В её рассуждениях я тогда почувствовал что-то схожее со своими мыслями, и мне казалось, что на вопрос, мучающий меня, может ответить Ольга. Или нет. Я мог сам найти ответ на него, но только в разговоре с ней.

— Эта ценность должна быть единой, — сказала она мне тогда, — и неважно, где живёт этот человек, на каком континенте, в какой стране, какой у него цвет кожи, на каком языке он разговаривает. Эта единая безоговорочная ценность должна быть... Она есть. Она определяет наши поступки, направляет их, сдерживает их в установленных пределах.

Смысл тогдашних слов Ольги крепко врезался в мою память, поразила глубиной размышлений и своей эмоциональностью. Она говорила, а тонкие её брови удивительно вздрагивали, щёки покраснели, а на лбу вздулись, точно вены, упругие складки морщин.

— Ведь ни в одной стране люди не хотят умирать. Везде добро ценится как благо, и везде люди мучаются от зла, насилия. На всей земле матери любят своих детей и готовы ради них на многое, если не на всё. Ни один народ не лишён сильнейшего из земных чувств — любви, благодаря которому и продолжается его род. Мы не имеем права принижать великие чувства человеческие, мы не имеем права отнимать у людей Бога.

Нельзя отрицать существования единой нравственной ценности в человеке, нравственной категории. Природный инстинкт не смог бы поднять человека на такие именно нравственные высоты. Инстинкт силён сам по себе. Когда же принимает решение человеческий разум, дух, когда инстинкт самосохранения, по существу, должен подвести человека к обратному поступку, не тому, который он совершает, то это в полной мере доказывает существование опять же великой нравственной силы.

— Значит, мы заранее сами себя в чём-то ограничиваем, так, что ли? Но ведь это несправедливо по отношению к самой человеческой личности.

— Нет. Те рамки выступают как помощь человеку. Они родились вне людей, но благодаря им. То, что мы называем нравственными рамками, моралью, есть не что иное, как эталон жизни. И выверено всё это не десятилетиями — веками. В этом процессе не было ничего случайного. Всё разумно. И чтобы продолжало жить человечество, эти рамки необходимы.

Ольга замолчала, закрыла лицо ладонью и помассировала пальцами лоб. Затем спросила, не отрывая ладони от лица, и поэтому голос ее прозвучал глухо.

— Неужели ты никогда не замечал за собой? Тебе что-то хочется сделать, но ты не смеешь, потому что понимаешь — это чудовищно. Ведь бывает у тебя такое?

— Бывает.

— Но почему ты уверен, что этого делать нельзя? Иной раз так подопрёт, что и жить не хочется, но ты же не бежишь сразу искать верёвку. Что тебя сдерживает? — Здесь она выдержала большую паузу, дожидаясь моего ответа, но я молчал. — Только это, такое абстрактное и тем не менее непосредственно касающееся нас всех, властвующее над нами. И не нужно этого бояться.

— А может быть, если бы человеческая личность была бы более свободна в своём выборе, она бы ушла в своём развитии намного вперёд без этой морали? — Я волновался, и голос у меня отвратительно булькал, будто я захлёбывался на окончании слов. — Ты говоришь, что это охрана жизнеспособности человека. Но, может, это тормоз, перестраховка?..

— Да, страуемся. Только вот какая штука — по-твоему, убери мораль, и пусть человек делает то, что ему хочется.

— Да.

— И с ним будут делать всё то, что захотят.

— Почему так, зачем ты...

— Усложняю?

— Да.

— Хорошо. Сколько сейчас в мире (добавлю — человеческом) существует такого, что может погубить его. Проблемы, проблемы... Природа, загрязнение среды, космос. И всё это выходит из-под контроля мудрости. Каждый решает эти свои проблемы по-своему. Но как? И здесь единственно правильный ответ даёт человеку его мораль. Она не совершает какого-то насилия над ним, она с самого рождения человека в нём. Это своего рода предохранитель, вставленный в нас. Это закон нашего существования.

— Ты считаешь мораль порождением духа?

— Безусловно.

Многое в словах Ольги я принял, был согласен, и в то же время поража- лал тот вывод, который вытекал из них.

— Ты хочешь сказать, что те проблемы, которые сейчас мы решаем (проблемы общения людей друг с другом), уже когда-то решались нашими предками?

— Конечно! Может, не в таких масштабах, но...

— Но ведь тогда выходит, — перебил я Ольгу, — что вся наша жизнь — это что-то вторичное, повторяющееся. Зачем же мы живём?!

— Вернёмся к началу разговора. Самопожертвование. Да, оно нужно, потому что жизнь, в свою очередь, продолжает духовно развивать следующее поколение. Это развитие было бы невозможно без самопожертвования. От этого же продолжается познание самого человека. Но оказывается, что та высота, которой достигло предшествующее поколение людей и которая, казалось, вот-вот найдёт скрытую тысячелетием тайну, вдруг открывала ещё большие просторы человеческому мышлению, а найти то первоначальное чувство, что поддерживает в человеке стремление к добру и благородству, стремление к мечте, материалисти- ческими способами оказалось опять невозможным. Но это чувство есть, я уверена. И оно в нас!

Сейчас, перепечатав из своего дневника ту запись, которую сделал сразу после разговора с Ольгой, я вспомнил, что в тот раз очень мало говорил сам, а больше слушал её. Меня поражала сама постановка во- проса. Девчонка — и вдруг... От этого «вдруг» я избавляюсь потом, не- много позднее, когда узнаю чуть больше об Ольге, а в тот день я вышел на улицу со странным чувством, затаившимся где-то внутри сознания. Это было чувство неудовлетворённости собой и какой-то неконкретной непонятности тех поступков, что совершал.

В тот раз я уже знал точно, что обязательно возвращусь в этот дом.

Десять, одиннадцать, двенадцать...

На следующий же день сразу после работы я опять пришёл к Ольге.

— Снова ты, парень, здесь?

Я не понял, то ли это спросили у меня, то ли сказали от того, что были недовольны моим приходом, но я остановился и только тут услышал тя- жёлые шаркающие шаги по коридору где-то за спиной. Я обернулся.

Пожилая женщина, поравнявшись со мной, пристально поглядела мне в лицо, даже остановилась на какое-то мгновение, затем прошла дальше. Я тоже было направился к двери с плохо заметной цифрой «8», когда женщина, открыв дверь комнаты напротив, предложила — захо- ди, — и, заметив мою нерешительность, посчитала нужным объяснить, — нельзя к ней сейчас, мать пришла.

Я не совсем уверенно вошёл в комнату тёти Маши — это была она, я догадался. Чувствовать себя смелее мешало стеснение, которое всегда появляется у меня при знакомстве с новым человеком. И тогда я поймал себя на мысли: почему я стесняюсь человека, которого ещё совершенно

не знаю и перед которым мне не из-за чего стесняться? Да, да, тогда я подумал уже с самооценкой своего поступка, заряд для которой дал разговор с Ольгой.

— Не робей, садись вон туда.

Тётя Маша показала рукой на выкрашенный белой краской стул, стоявший около кухонного стола, накрытого клеёнкой. Я выдвинул стул, сел.

Охая и причитая вполголоса, тётя Маша прошла в свою комнатку, отгороженную от кухни тонкой деревянной перегородкой, тоже выкрашенной в белую краску, и уже оттуда спросила:

— И чего ты повадился сюда ходить?

Как я мог ответить? Я и сам ещё не понимал зачем, не понимал, что меня влечёт в эту крохотную квадратную комнату, от которой отделяли тогда две тонкие перегородки дощатых стен и совсем небольшое, метра два в ширину, пространство коридора.

Тётя Маша вернулась из комнаты с аккуратно повязанным на голове платком, концы которого торчали у неё на затылке крохотными косичками.

— День рождения у неё сегодня, вот мать и пришла.

Тётя Маша достала из-под стола ещё одну табуретку, села рядом, облокотившись локтями о крышку стола.

— Сколько ей?

— Двадцать пять уже... Всё мучается.

— Двадцать пять?!

— Да. Что, или моложе думал?

Я сознался, что дал бы ей не больше пятнадцати. Евгений Иванович про возраст Ольги не сказал, и я подозреваю, что не случайно.

— Мала она, мала. Да и то, откуда здоровью взяться, когда жизнь у неё, сам видел, какая? Мать ещё непутёвая, а она её и такую любит. — И немного помолчав, с задумчивостью в голосе. — Она у нас всех любит, за всех страдает и мается. К ней, как к святой, каяться идут, грехи замаливать. Придут, поплачутся, она выслушает, потом поговорит, и уходят от неё люди успокоенные, будто душу с совестью очистили. Да только навряд ли одними разговорами это сделаешь. Совесть-то ведь всю жизнь мучает, если раз против неё пошёл, не по её воле поступил.

Тётя Маша замолчала, и в это время стало слышно, как в комнате негромко тикает будильник.

— У нас в доме, что ни случись, и большой, и малый к ней за советом идут. А чего идти, что она может сказать? Ольгуха-то ведь и сама ещё ничего не видела, не знает. Только что по книжкам и живёт. Да ещё с молитвой. Книг много прочтала, — тётя Маша покачала головой, — ой, много! Замучилась ведь я ей их таскать, не молодая уж, а книжки эти — хоть и не велика тяжесть, а руку сушит. Да и своих дел, кроме её книжек, полно... А с другой стороны, как не сходить, если калека просит. Вдруг и у меня завтра эдакое приключится, так что ж, без присмотра оставаться. Да-а-а. — Тётя Маша опустила взгляд, посмотрела себе на колени и стала, медленно поглаживая ладонями, расправлять складки на стареньком, выцветшем и вытертом фартуке. — А вот ведь находит для человека нужное слово. Я тут с ней как-то разговорилась про жизнь нашу теперешнюю. Ничего не могу худого сказать, умно она говорила, складно да сладко. И про жизнь-то прошлую, и про войны великие, а всё сводила к тому, что будут жить люди без крови да братоубийства. Слушала я её и верила, а когда осталась одна, к себе в комнатку вернулась, то ночь не спала, всё об этом самом думала. Под утро не осталось больше терпения. Встала с постели и к ней, а она уже, готово дело, с книжкой в руках лежит. Спросила я у неё тогда, когда же это станется, что люди без войны жить будут, мирно да ладно? — Тётя Маша улыбнулась, зашевелилась на табуретке, охнула. — Вот ведь старая, и вправду поверила, что знает она, когда время это наступит... Уж больно дожить до него хочется. А она мне и ответила. «Когда люди истину свою в себе найдут и в другом её увидят».

Опять я ушла, не поняв ничего, а потом уж доползла умом своим. Я её слова так понимаю. Должен каждый полюбить другого за то, что он, этот другой, тоже такой же человек, как и ты сам. А захотел убить его, так всё равно что себя порешить надумал. — Тётя Маша вздохнула, убрала руки с колен и, положив их на стол, начала легонько покачиваться. — Вот она у нас какая. Да-а... А ещё помню, прибежала соседка наша с первого этажа, ревёт. Деньги на базаре у неё украли. Я гляжу, Ольгуха моя аж позеленела, так разгневалась. Долго она с той соседкой говорила. Я-то не слушала, у меня в аккурат тесто подходило, так я всё у печи вертелась. Но ничего, управилась, возвращаюсь в комнату. Я порог ещё не успела переступить, а Ольга-то наша меня и спрашивает. Когда, говорит, вся нечисть на земле выведется? А у самой глаза большие, губы подрагивают и сказать, главное, больше ничего не может. Я ей вроде начала втолковывать, мол, воровство было и есть, а когда оно с земли сгинет, про то одному Богу известно. Да только гляжу, не слушает она меня, о своём о чём-то думает. Ну, я встала потихонечку да и вышла. Вот ведь человекина. Другого кого успокоит, слова добрые найдёт, объяснит, что как знает да что как понимает, и уходит человек вроде как перемогший кручину свою, а она-то после в одиночку за них всех мучается. — Тётя Маша тяжело вздохнула, встала с табуретки, поправила платок. — Вот какое у неё сердце, на всех хватает. И не думают люди, всё своё горе в это сердце сваливают. А каково ему-то, про то вроде как и не беспокоятся шибко. Вспоминают чаще Ольгуху в дни невеселья. Да и то, со счастьем мы и одни больно хорошо справимся, это несчастье в одиночку не выдюжишь. — И вдруг предложила. — Уж коль пришёл, так, может, тебя чаем напоить? — Затем покачала головой. — Не пойму, ты-то чего к ней присох? Сказывала она мне, нет у тебя воронья над душой.

— Мне нужно.

Сказал я это негромко, да ещё от долгого молчания слиплось в горле, от этого сказанное прозвучало хрипло.

— Эк как тебя. Сиди уж, я за чайником пошла.

Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать...

Во время наших разговоров я постоянно замечал, с каким интересом и желанием Ольга слушала о том, о чём я ей рассказывал. Уже потом мне подумалось: «Она ведь и жизнь только по рассказам людей знает». Но какие это были рассказы — боль человеческая и ненависть. Мне же захотелось рассказать ей о чём-нибудь светлом, радостном. Пусть она знает — не одним горем и страданием жив человек. Но как это всегда бывает: вроде много в жизни хорошего, а как надумал рассказать о нём, так вроде и несостоящим оно, должно быть, для Ольги покажется, лишь для меня это хорошее цену и имеет. Нет, ей нужно было рассказать о чём-то много раз виденном и... необычном. И вот... Всё произошло неожиданно. Поздним вечером я шёл по набережной и вдруг услышал громкий, доносившийся с реки шорох. Я остановился и прислушался, подумав, что мне это показалось. Нет, звук шёл снизу, с реки, словно там кто-то мял фольгу или топтал битое стекло. Я стал вслушиваться ещё внимательнее, и вскоре слух различил потрескивание и лопание тоненького льда. Я спустился к тёмной ширине реки по белому от снега бетонному склону. Несколько раз поскользнулся на ледяной, спрятанной под рыхлым снегом, корке. В сапоги набился снег и неприятно щекотал холодом ноги, да ещё у самой воды я оступился и упал на правую руку, сильно ударившись локтем, и теперь он болел. Но обо всём этом я очень скоро забыл. Шум, который было затих, опять стал постепенно нарастать. И вот звяканье, громкое и хрусткое, до удивления вкусное, даже слюна во рту появилась, начинает, казалось, заполнять собой всё вокруг. Я присел, чтобы лучше разглядеть, что же это такое, и понял — это лёд, но где он, его же не видно!

В воде, недалеко от того берега, где я сидел на корточках, стояли спаренными металлические ампулы понтонного моста. Куски тончай-

шей плёнки льда надвигались по течению на эти металлические поплавки, натыкались на них, наползали и ломались, остро поднимая вверх оскольчатые бока льдинок. И те вдруг сверкали, попадая в неширокие цветные полосы рекламного неоновового света, тянувшиеся с другого берега Оки от гостиницы «Нижегородская». И всё это — звук, цвет, острые края льдинок — очаровывало красотой. И не хотелось шевелиться, уходить, а только бы слушать и смотреть, смотреть, смотреть... И упиваться морозною свежестью, и запахом замерзающей воды, и звуком похрустывающего неглубокого снега.

В тот вечер уже было поздно, что-нибудь около одиннадцати, когда я бегом поднялся по лестнице в стареньком, покосившемся на один бок домике, распахнул дверь Ольгиной комнаты и, запыхавшийся, ввалившись в неё, сел на стул у кровати. Я только тогда окончательно почувствовал себя счастливым и уставшим.

Ольга долго и весело смеялась, а я продолжал тяжело дышать и изредка глубоко вздыхал, потому что воздуха в лёгких не хватало. Потом я уже заметил за собой, что продолжаю всё это делать ради смеха Ольги.

После того вечера я уже больше никогда не слышал такого её смеха.

— Откуда ты, а? Ну, откуда, расскажи?!

Я, дурачась, тяжело мотал головой, словно не мог перевести дух, а она всё просила.

— Ну, расскажи, ну, пожалуйста, расскажи.

И я рассказал...

Тётя Маша сказала, что все к Ольге шли с горем. Она была и судьёй, и целителем. Намного позже я подумал: «А может, это и хорошо, может, горе и беда других поддерживали её. Она видела, что несчастна не одна, что много горя у людей вокруг и людям нужно помочь с ним справиться». Ведь она была нужна людям, которые шли к ней. Но, наверное, зря пожилая женщина думала, что нужно отгородить Ольгу от горьких судеб человеческих. Может, от неё нужно было скрывать другое. Жестоко? Да. Но эта жестокость была бы ради неё самой и во имя тех людей, кому она ещё не успела помочь.

...Я ей рассказал всё, что увидел и перечувствовал на берегу, и сам испугался рассказанного. Потому что тогда я, захлёбываясь от восторга, не смотрел ей в глаза (Ну почему мы так редко смотрим друг другу в глаза?), а когда посмотрел, то было уже поздно... Нет, это я сейчас понимаю, что было поздно, а тогда я просто смутился, почувствовав что-то неладное в глубокой внутренней удалённости её взгляда.

Говорил я в тот вечер охотно и много. Ольга меня почти не перебивала, только слушала и улыбалась. Сейчас мне кажется, что эта улыбка была ей нужна для того, чтобы сдержать слезы. Когда я уходил, она необыкновенно искренне попросила меня:

— Приди ещё, завтра, обязательно завтра, ладно?

Я пообещал.

Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать...

С тех пор, когда я приходил к ней, она меня обязательно просила рассказать о себе. Я ей пересказывал все фильмы и спектакли, которые успевал посмотреть, читал отрывки из понравившихся книг. Ольга слушала меня и улыбалась. Теперь уже улыбка не сходила с её губ, и я был счастлив этим, счастлив тем, что показал Ольге жизнь, которую она никогда не видела и не смогла бы, наверное, увидеть. И она становилась другой у меня на глазах. Стоило мне немного запоздать к обещанному сроку, как Ольга сразу просила, едва я успевал войти в комнату, и, не желая ждать, пока я разденусь: «Ну, быстрее, рассказывай, рассказывай...». И я рассказывал, долго, до чугунной тяжести в голове. Когда же собирался идти домой, то прятался от её взгляда, который всё равно, в конце концов, находил меня, мои глаза и просил не уходить. Такому

взгляду отказать было невозможно, и я оставался ещё на какой-то срок. Одно время этот взгляд мне начал казаться ненормальным. Нет, это не совсем правильно. Мне казалось, что это взгляд человека, напоившего своё сознание какой-то лёгкостью и неземной отрешённостью. Я стал не на шутку бояться этого взгляда и начал реже приходиться к Ольге. Реже — это значит — не каждый день, а два-три раза в неделю. Но, главное, из-за чего я реже стал бывать у неё, так это из-за появившейся во мне, непонятно с чего, раздражительности. Сейчас-то я понимаю, откуда она тогда во мне появилась. Ведь я неосознанно ждал, что эта необычная девушка откроет для меня что-то новое, необходимое для моей жизни. И вдруг всё сводилось до обыденного к простому. Я должен был, как не один уже раз, делиться своими мыслями, не доказывая их, не находя в споре с чужим мнением какого-то необходимого зерна истины. Сначала этого раздражения не было. Я чувствовал себя сильным, и мне хотелось чувствовать себя таким. Но что может твоя сила сделать с бессильным? Он не сопротивляется, и ты перестаёшь чувствовать себя сильным, и сам, в свою очередь, становишься в самом себе по отношению к другим, окружающим тебя, бессильным. Но как же я тогда ошибался!

Ольга по-прежнему с большим желанием встречала меня, с нескрываемым удовольствием слушала, и я поначалу не замечал той перемены, что произошла в ней. Она перестала говорить сама. Перестала совсем. (Почему я не заметил этого сразу?) Та, которая могла почти любого взрослого человека убедить в нужности или никчемности какого-либо поступка, сейчас молчала.

После одного из наших разговоров, опять стараясь не встретиться с ней взглядом, чтобы уйти, я всё-таки задержался в двери, оглянувшись, посмотрел на Ольгу и опять заметил у неё на лице и в глазах непонятную пустоту.

Когда я вышел в коридор, то в его темноте встретился с тётёй Машей.

— Что это с ней? — не по воле своей спросил я тогда.

Пожилая женщина вздохнула.

— Ох, и не говори родной, сама не знаю. С людьми разговаривать перестала. Всё только молится. Я спрашиваю, а она молчит и только в окно смотрит. А что там, в окне-то, увидишь? Ох, Господи, и за что мучения такие человеку?

Она ещё раз тяжело вздохнула (а может, всхлипнула, потому что звук из её горла вырвался какой-то натужный, будто был очень тяжёлым) и, перекрестившись, зашаркала по полу тапочками, в которые была обута.

Девятнадцать, двадцать...

Вот и кончилась лестница. Теперь шесть шагов по коридору до двери и...

Последний раз мы с Ольгой виделись меньше месяца назад. Я только вошёл в комнату и сразу понял, что Ольга больна. Странно, но в этот раз она не просила, чтобы я что-нибудь рассказал. Когда я спросил у неё про здоровье, она не ответила сразу, а потом, после, как мне показалось, долгого молчания, негромко проговорила: «Голова что-то болит». Я протянул руку, чтобы дотронуться до её лба, и она от неожиданности и испуга чуть заметно отпрянула. И всё-таки я дотянулся до её лба. Он был горячим, а в мизинец мне, часто и сильно, стучала жилка на виске.

Я убрал руку.

— У тебя жар. Врача вызывали?

— Странно, всё прошло, — не отвечая на мой вопрос, сказала она.

— Что прошло?

— Ты дотронулся, и всё прошло... Вот и когда мама дотрагивается, у меня всегда перестаёт болеть голова.

Тогда я подумал, что коснулся, дотронулся до неё в первый раз.

И вдруг Ольга заговорила, будто сама с собой.

— Тётя Маша думает, что жалюю я людьми. А зачем им нужна моя жалость? Я понять хочу, когда они со своим горем приходят, отчего оно, как люди сами его понимают, да как бы сделать, чтобы не было его больше. А жалость... так это минутное. Всех не пережалеешь. Да ещё ведь вот как бывает. Одному сделали нехорошо — жалуется, а сам потом сделает так же и не задумается. Я хочу, чтобы люди осознали беду свою, а уж коли так, то, значит, и внимательнее к соседу своему были. Только нужно найти в любом этот корень человеческий, самому увидеть и другому показать, а уж дальше легче будет, дальше люди сами увидят, как это здорово человеком-то быть.

— А ты уверена, что это единое во всех людях есть?

— Да.

— Но где же оно? Почему его до сих пор не нашли, не открыли?

— Где?.. Да если бы знать!

И она опять надолго замолчала. Кажется, я тогда подумал о наркотике. Сумев привыкнуть к нему, человек становится не властелином своего тела и разума. Я долго не мог понять, как это происходит, откуда берётся сила, способная побороть разум. Для Ольги наркотиком были мои рассказы. Я отравил её ими. Сознание её, наверное, противилось. Ведь так легче, когда не знаешь, сколько теряешь в жизни из-за того, что прикована к кровати. И Ольга, конечно, понимала это, но сделать с собой уже ничего не могла.

— Я о многом с тобой говорила, но всё это было, — она замолчала, не находя нужного слова, и по лицу было видно, что это её мучает, — ну, не до конца, что ли. Как думаешь, нужны были мои разговоры кому-нибудь? Я не знаю. Может, и нет. — Я хотел возразить, но она остановила. — Подожди... Нужны ли они мне? Да! Они помогали больше понимать людей, понимать и оценивать их поступки и, в первую очередь, поступки свои. Это анализ того, что очень часто мучило меня и мучает сейчас своей неразрешимостью и сложностью. Мысль, ту, которая родилась в голове, пускаешь по одному главному руслу. Она заплывает в притоки и омуты сознания, тем самым дополняясь, и, в конце концов, разобранная, остаётся она в одной из гаваней мозга. И уже по ней меряешь те или иные поступки людей.

— Но ты же можешь ошибиться?

— Да, эту мысль нельзя считать окончательной. Если против неё предоставят убедительные, более правильные выводы, я соглашусь с ними.

— Значит, твоё убеждение неокончательно?

— Мне кажется, ни одно из убеждений нельзя считать окончательным. Другое дело, когда мы привержены одним убеждениям, потому что нам не могут противопоставить другие, способные разубедить нас в наших. Люди спорили раньше, спорят сейчас и будут спорить после нас. — Ольга замолчала, вопросительно глядя на меня. И вдруг, будто решившись на что-то очень важное: — Давай поговорим о жизни и смерти. Это две крайние точки существования человека на земле. Некоторые люди говорят, что они не боятся смерти. Я в это не верю. Человек переходит в мир смерти, а ведь он жил и не так часто думал, что когда-то его жизни придёт конец. А если и часто думал, то до конца, конечно, не осознавал. Но вот приходит смерть, и человек вспоминает всё то, самое лучшее, что было у него. А может, больше горькое вспоминает, обиды. Вот тогда, наверное, хочется прожить немного иначе, ну хоть немножечко, а не так. Более полно, что ли, интереснее. И в то же время большинство за жизнь борются. Ко мне раньше часто приходили старушки и всё про жизнь свою рассказывали. Какая бы она ни была, а лучше смерти. Слышала я один раз, как про таких говорили: «Разве это жизнь? Уж лучше умереть!» Только я думаю, слова всё это. Вот живём мы и живём и не думаем, что вдруг конец, и только заросший травой бугорок будет напоминать о нас людям. Но ведь все мы хотим жить, а не напоминать о себе. И тут открывается самое удивительное. Почему

же зачастую при жизни мы о себе не напоминаем людям, словно и нет нас вовсе? Но если жизнь наша не принесит никому пользы, так, может, лучше смерть? Ты стар, что же тебя удерживает на земле?

— Ну и что?

— Я долго думала и теперь уверена. Человек борется со смертью не ради жизни как таковой (уж какая жизнь, когда ходишь еле-еле), а ради памяти о ней. Все старые люди мало говорят о сегодняшнем, почти не говорят о будущем, но очень много о прошлом. Замечал ли ты, как старые люди берегут свою память? Для них самая большая обида — осквернение памяти. И выходит, что в итоге человеческого существования она, память, и есть жизнь. Мы не можем будущее назвать жизнью. Но прошлое, то, что мы, то есть люди, уже прожили и что запомнили, называем жизнью. Жизнь человечества будет длиться до тех пор, пока оно будет помнить. Нечего помнить — нет жизни. Значит, жизнь — это всегда прошлое. Каждый час, минута, секунда становятся жизнью только тогда, когда мы проживём этот час, эту минуту и секунду. Когда они уйдут в прошлое, в память.

Умиравший человек, молодой или пожилой, не имеет значения, редко думает о том, как бы он ещё успел прожить. Он вспоминает уже прожитое. А памятники, да и вообще искусство: книги, картины, музыка... Что это, если не дань человечества памяти? В молодости мы живём познанием, хотим всё увидеть и узнать. В старости — памятью о познанном и увиденном. Вся прожитая жизнь (всё равно, большая она или маленькая) будто день. Вся громадина переживаний, испытанная и прочувствованная, сливается воедино, образуя как бы один, насыщенный и интересный день. Вот, наверное, почему старый, должно быть, где-то уже измученный жизнью человек не хочет с ней расставаться, расставаться со своим днём. — И вдруг призналась: — Я тоже не хочу расставаться со своим днём. Я много знаю про людей, я их помню. Это так хорошо, когда есть за что помнить!

Теперь-то я понял. Всё, что сказала мне в ту нашу последнюю встречу Ольга, для неё самой было сокровенным. Она тоже готовилась к смерти и поэтому пыталась осмыслить то своё состояние так же, как и всё предшествующее ему. Ольга должна была умереть. Она вбирала в себя человеческое горе, а отдавала взамен кусочки своей жизни. Она отдала всю себя, всю свою жизнь людям и уже не могла выпитывать горе. Оно начало выплёскиваться из неё.

— Мне не хочется умирать, но и жить больше нельзя. Понимаешь, мне сейчас тоже пожаловаться на свою жизнь кому-нибудь хочется, а это, значит, все. Что могла — я сделала.

Ольга замолчала, но от меня не отвернулась, не отвела взгляда от моего лица.

Признаюсь, мне тогда очень хотелось утешить ее, сказать о том, что нет ещё ничего страшного, что она поправится. Но я не смог. Где взять такую искренность, с которой только что говорила она со мной? Я просто не думал о жизни так много, как она, и поэтому не мог открыть ей свои чувства своими словами, выварившимися во мне, рождёнными моим мозгом, моим ощущением и пониманием мира. И как бы оскорбительно звучали тогда обыденные человеческие штампы!

Такой была наша последняя встреча.

Когда я пришёл в следующий раз, Ольги уже не было в живых. Лампочка в коридоре горела так же тускло, как и тогда, когда пришёл я в этот дом в первый раз. И всё так же пахло керосином, тряпьем, слежавшейся бумагой. Я помню, как за ручку дёрнул дверь на себя и почувствовал, что она упруго не поддавалась. И почти тут же послышались скрип половицы и слова тёти Маши:

— Подожди, я открою.

Она долго ковырялась ключом в замочной скважине — это с непри-

вычки, наконец что-то щёлкнуло, и дверь открылась, громко и протяжно заскрипел. (Странно, раньше я никогда не слышал этого скрипа.)

Квадратная комната прибрана. Новые занавески на квадратном, что напротив двери, окне. Постель непривычно для взгляда аккуратно заправлена, а в воздухе стоит густой и приторный тёплый запах растопленного воска, ладана, лампадного масла.

— Отмаялась, родимая, ох, Господи... Ну, ты посидишь? Мне уйти нужно.

Я утвердительно кивнул.

Как непривычно и пусто в комнате, а в ушах отчего-то стоит голос Ольги, будто она сказала что-то и вот на мгновение замолчала. За окном всё та же крыша, только сейчас чёрная, покрытая толем, намокшим от недавно стаявшего снега, и ослепительно белая, выкрашенная известью, стена сарая.

Очень скоро возвратилась тетя Маша. Вздохнув, присела у изголовья кровати, там, где всегда сидела Ольга, и стала молча поглаживать рукой пустую подушку. Она не плакала. Старые люди, когда не при народе, когда знают, что не осудят — вот, мол, не жалеет, — редко плачут. Нет больше слёз, выплакали уже все.

— Возьмёшь на память-то чего?.. Возьми, покойница часто тебя поминала. — Тетя Маша говорила негромко, задумчиво. Над её головой слегка трепетала тень лампадного огонька. — Ты что ж не приходил, неужто не чувствовал?

Как мне нужно было ответить на этот вопрос? Правдой? Но чего бы она дала тогда. Да и не объяснила бы она ничего, потому что всё это было просто и очень сложно одновременно.

Я чудовищно боялся смерти Ольги. Я был уверен, что она не умрёт, не должна умереть, пока я её не увижу. И я сознательно оттягивал эту последнюю встречу. Мне казалось, что если я приду к ней, то эта наша встреча будет последней. А оказалось, у смерти свои законы, и она заставляет людей жить по ним. Я хотел, чтобы Ольга прожила дольше, а вышло, что я даже не успел проститься с ней... И как это объяснить, как сказать доброй, замечательной тётке Маше, какими словами, чтобы она не поняла — почувствовала, почему я так долго не приходил...

Промолчав, я взял со стола потрёпанную книжку «Роман-газеты», бережно перелистнул несколько страниц. Я до сих пор не мог поверить в смерть Ольги, не мог ощутить того, что она была и вот... нет. И понял я, почему не могу принять её смерти. Потому что осталась Ольга в памяти, надолго осталась, навсегда.

— А народу на похоронах мало было, — тётя Маша продолжала гладить подушку. — Всегда так-то в народе, что ли? Она для них всех, а они... вот и ты... Э-эх-х... жизнь.

Тетя Маша поднялась, и тогда я впервые заметил, какое измятое, в морщинах у неё лицо, как много седины в прядях волос, выбившихся из-под платка, как мелко и часто подрагивают у неё пальцы рук, какая она большая и рыхлая... старая. — Ну, чего сидеть, всё равно уже больше ничего не высидим, — и оправдываясь, но стараясь, чтобы этого оправдания в голосе не слышалось, — у меня там бельё кипятится. — И, видно, вконец раздосадованная на меня: — Нет её больше, Ольгухи-то нашей, нет! — И заплакала неслышно, без голоса, одними глазами.

Опавшая листва сухо шуршит, когда я шевелю её ногами, не вставая с лавочки, с той самой, в скверике за Домом офицеров, на которой я впервые решил пойти к Евгению Ивановичу, а как оказалось — к Ольге. Совсем рядом дымит ворох такой же сухой листвы, как и у меня под ногами. Парень и девушка подметают вдвоём узенькие заасфальтированные дорожки и почему-то обходят то место, где сижу я. А кроме меня и их в сквере никого. Тихо... Даже шумной улицы, которая совсем рядом, за домами, не слышно. И пахнет догорающей листвой.

Осень...